

*Сестре*



Люди всегда не знают, а всегда говорят.  
Я расскажу, как было.

У меня год рождения в городе Чернигов получился 1941-й, 22 июня, самая-самая ночь.

А часов в восемь утра прибежала санитарка Фрося. Фрося прибежала и начала кричать своим голосом:

— Просынайтэся! У людэй вже вийна, а вони розляглыся! Ану — пидъём! Собырайтэ ноги до купы и бижить с дытямы хоч куды!

По правде, санитарка Фрося узналась людям как сильно выпивающая. Потому слова люди-женщины приняли не за правду-правду, а так.

В ту секундочку никто не двинулся с своего места на кровати. Некоторые из пяти свежеродивших подали свой голос. Вроде что вы, Фрося, сама по себе санитарка, что вы должны соблюдать порядок дня, а не колошматить здоровье матерей.

Только с третьего захода Фроси моя родная мама в первых рядах взяла в свою голову, что санитарка если и закинулась, так совсем чуточку, с такой чуточки можно, если что, брать горлом, а только про привычное дело. А война — это для человека совсем-совсем другое.

Надо понимать.

Когда уже это самое другое людьми понялось, моя родная мама подскочила с своей кровати и без одного слова кинулась в пеленальную.

По дороге наперекор моей родной маме не попался никто, тем более — на всем этаже на выходной остались только матери с новорожденными.

Моя родная мама забежала в пеленальную и в эту самую секундочку — раз! — схватила крайний-крайний пакúнок и нáчала вылезать в окно. Накануне прошел жарючий день, потому окна пооткрывали. Тогда не придавали значения заразе для новорожденных, а старались, чтоб проникал свежий ветер.

Больница была хоть маленькая, а двухэтажная. Палата с пеленальной устроилась на втором этаже. И моя родная мама полезла с второго этажа с чужим ребенком спастись от наступившей в Чернигове войны.

Да.

Чужой ребенок был тоже девочка и тоже чернявенькая. Допустим, моя родная мама про что взяла чужое — не знала. А то б конечно.

Пока моя родная мама с пакúнком как-то лезла на землю, в палате поднялись слезы и вопросы.

Потом весь-весь коллектив свежеродивших побежал до докторской комнаты.

Дежурная докторша в докторской комнате разъяснила для матерей, что по радио ни про что не заявлялось, что никакой телефонограммы не получалось, что может случиться провокация, что она не уполномоченная оставлять пост и распространять сплетни.

Война началась на рассвете,  
чтоб больше народу убить,  
спали родители, спали их дети,  
когда стали Киев бомбить.

Потом настало время, когда поняли. Конечно, когда человек уже все-все понял, получается совсем-совсем другое дело.

Тогда все-все матери побрали своих новорожденных детей и побежали по домам спастись уже по местам личного жительства.

Одна среди женщин — женщина Тамара — получила на руки не своего новорожденного, а меня, тоже чернявенькую девочку. Тамара еще с дальнего материнского взгляда на меня узнала, что ребенок для нее получился совсем-совсем чужой. Тамаре сказали — пока милиция не узнает, что и где, и не вернет незаконно взятого ребенка, пускай Тамара забирает себе, какая девочка имеется в наявности, а потом если что, поменяется на свою родную. Конечно, Тамара взяла.

Про мою родную маму в те часы подумали, что женщина уже далеко-далеко, что, как вернется в себя, так в одну секундочку прибежит и отдаст забранное и что все-все будет хорошо.

Про историю с пеленальной и окном на землю — никто ж и не понял, как могло обойтись, чтоб не в окно. Мне через годы-годы от и до рассказала сама Фрося. И я повторяю Фросю честно, без себя.

Моя родная мама с чужим ребенком для всех-всех пропала.

Милиция побежала к моей родной маме домой, а там — никого. А никого, потому что муж моей родной мамы уехал в командировочное время на крупное строительство в Киев. Тогда строили стадион спорта, и — раз! — на 22 июня наметили себе открыть. А моя родная мама тоже наметила себе — быть в такой день рядом с плечом мужа.

По правде, чтоб я не думала себе лишнее, Фрося сказала, что мой родной папа получился тоже еврей и по имени, и по фамилии, что Фрося тогда своими ушами слышала, что потом забыла из-за переживания жизни.

Да.

Моя родная мама рассказывала про свой план всем-всем, все-все и знали.

Милиция доложила начальству про случай и кинулась в другие важные приказы. А приказ был по городу и области один — оборонять нашу Родину. А моя родная мама, хоть и с безвинно покраденным новорожденным, — не пушка с гранатой, чтоб искать пропажу по всем усядам. Никто сильно-сильно и не искал.

Конечно, Тамара искала. Допустим, Тамара с Фросей искала. И от себя Тамара искала тоже. Фрося сама попросилась на помощь — как свидетельница и по добром чувству к горю матери. Про горе — это считалось, что горе получилось у Тамары. А про мою родную маму считалось, что там никакого на свете горя нету, что моя родная мама ж сделала, что сдела-

ла, своими руками, что надо было хорошо смотреть, а не так. А когда уже сделала — держись и не жалуйся товарищам.

Фрося по нации не была еврейка, как моя родная мама. А Фрося ж знала, что у евреев есть такое, называется “синагога”. В те годы в Чернигове синагоги уже не было. Зачем бы советской власти была синагога? Фрося знала про синагогу, потому что жила еще раньше, когда синагога в Чернигове была. Допустим, советская власть тогда уже тоже была. А синагога . . . . .

Синагога была по дороге на площадь, революция совершилась, синагога еще хранилась на своем месте, потом комсомольцы все-все вынесли с синагоги, получился красивый клуб, готовый.

Да.

Так Фрося про синагогу знала, что евреи собираются в синагогу и один про другого рассуждают, что даже некоторые уже после всего приходят вроде в клуб, а в голове у себя молятся синагоге. Таким людям на портреты вождей — тьху.

Фрося пошла в клуб. И сразу пошла к еврейской старухе. Всем-всем понятно, что старуха в клуб заявлялась слушать не политинформацию, а голоса с верующего неба.

Фрося подошла к старухе с теплой улыбкой, поздоровалась, села и начала спрашивать, что, может, кто с еврейских женщин по городу рассказывал, что некая молодая еврейка с нарожденной дивчинкой, хоть и чернявенькой, а не как обычно у еврейских де-

ток, находится не у себя в хате, а прибилась к чужому углу, что, может, она больная, может, ее надо направить или как . . . . .

Старуха хорошо-хорошо послушала Фросю и пообещала, что пускай Фрося себе считает как хочет, а названная женщина нарожденной дивчинке ничего не сделает, что про кровь на евреев все-все наговаривают и что верить такому некрасиво.

Про мою родную маму старуха Фросе ничего не сообщила. А по виду Фрося себе решила, что старуха знает сильно много.

Фрося такое себе решала, старуха уже ж встала на свои ноги и пошла. Фрося пошла тоже.

Пошла Фрося за старухой.

Получилось, что у старухи была хата на улице Трудовой, которая за клубом, который синагога, которая клуб.

И надо ж такое! Фрося увидела там в дворе у старухи на веревке мокрые тряпки, какие делаются для нарожденных.

Фрося, конечно, побежала в сам дом, а старуха туда уже ж вошла.

Фрося и старуха опять встретились лицом до лица. Встретились, а никого другого в хате не было.

Старуха, конечно, спросила Фросю, за чем Фрося. Фрося все-все высказала прямо в лицо старухи.

Старуха сказала, что ничего даже малейшего нету, что тряпки, которые в дворе, накроенные для самой старухи, что пускай Фрося живет себе дальше-дальше, что тогда Фросе такие тряпки тоже будут нужные.



Фрося, конечно, не поверила старухе. Допустим, про что Фросе тряпки тоже будут нужные, чуточку поверила, а про что повешенные тряпки не для нарожденного — не поверила.

А 8 сентября в Чернигов зашли немцы.  
Потом евреев убили.

Фрося с другими товарищами ходила смотреть, как евреев убивали. Не всех в одну секундочку, а по порядку.

Фрося по порядку и смотрела, и увидела знакомую старуху. Фрося старухе, конечно, кричала, чтоб старуха облегчила себе сердце перед смертью и все-все сказала.

Старуха смолчала. А потом уже не спросишь, хоть ты что.

Фрося попросила у меня большое прощение, что не узнала у старухи.

Конечно, я Фросю не простила.

Не простила не за то, а за другое. Когда ты не знаешь, тогда всегда молчи и не репетуй.

Так ушли следы моей родной мамы и новорожденной дивчинки — родной дочки Тамары.

А Тамара, простая украинская трудовая женщина, меня кормила-кормила. Своим молоком и своими слезами кормила. А как же было меня не кормить? Я Тамаре далась на замену — получается, терпи, жди свою одну секундочку.

Конечно, Тамара тоже думала про следы, а время было уже не то. А всегда ж может перевернуться на то.

Ты жди — следы не следы — не твое это дело. Было б что дать за свое.

Надо понимать.

Можно сказать, что я и есть виноватая во всем, не считая фашиста.

Это я сказала не от себя и не от Фроси. Это Тамара мне в уши говорила от самого первого дня совместной жизни как дочки и мамы. Только я ж не знала, про что мама Тамара говорит. Тамара ж мне считалась перед всеми-всеми моя мама. Конечно, не считая меня и Фроси тоже.

Я стала расти, и долго понимала одно — что моя мама меня не любит, а шпыняет. Если б на ту самую секундочку в наявности был мой отец, который муж мамы Тамары, может, я б хорошо посмотрела и увидела, что я в нашей родной семье чуточку другая, что, может, я сильно-сильно чернявенькая, что, может, у меня и носик. А мужа мамы Тамары в наявности не было. Я по своим годам могла это понимать, когда была в войну? Не могла, я ж родилась когда? Потому не могла. И никакой карточки мужа Тамары в хате не было. Кто ж так поступит с карточкой при живущем по-хорошему человеке-муже? Допустим, муж в хате и не жил. Оно ж, когда в доме живут, так .....

По правде, я и потом не понимала про папу, и не спрашивала тоже. Как спросишь? “Мама, где наш папа?” И чтоб этот папа пришел и тоже начал меня шпынять? Я ж, считай, только шпыняния и видела. Пускай.